Любовь в тягость

Автор:
Элена Ферранте

Любовь в тягость

Элена Ферранте

«Любовь в тягость» – это тонкая и психологически выверенная проза, роман одновременно мрачный и вдохновляющий. У главной героини, художника-иллюстратора, не то чтобы безоблачная жизнь. Она одинока и не слишком довольна собой. Пытаясь после внезапной смерти матери отыскать причины собственных неурядиц, героиня обращается к воспоминаниям о своем детстве: ведь, как учат психологи, именно детские моральные травмы определяют всю нашу взрослую жизнь. Но только ли они? И может ли мать настолько повлиять на психику дочери, чтобы та стремилась буквально перевоплотиться в нее? Нет, не всегда стоит разгадывать заданные прошлым загадки… Автор книги, Элена Ферранте, – личность таинственная, предпочитающая оставаться в тени своих книг. Неизвестно даже, пользуется ли она псевдонимом или пишет под собственным именем. Ее романы переведены на 40 языков, и в 2016 году она вошла в список 100 самых влиятельных людей мира по версии еженедельника Time.

Элена Ферранте

Любовь в тягость

© Edizioni e/o 2006

© О. Поляк, перевод на русский язык, 2021

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2021

© ООО «Издательство Аст», 2021

Издательство CORPUS ®

* * *

Моей матери

Глава 1

Мама утонула ночью 23 мая, в день моего рождения, у берегов морского поселка Спаккавенто, что в нескольких километрах от Минтурно. Именно здесь в пятидесятые годы, когда отец еще жил с нами, мы снимали летом комнату – тесную, душную каморку, где и ютились весь июль впятером. Каждое утро мы с сестрами, тогда еще совсем девочки, глотали по сырому домашнему яйцу и спешили на море, пробираясь через высокий тростник по песчаным тропинкам, – поскорее купаться. В ночь, когда погибла мама, хозяйка того самого дома, где мы снимали комнатушку – ее звали Роза, и ей уже перевалило за шестьдесят, – слышала стук в дверь, но не открыла, испугавшись, что это воры или убийцы.

Двумя днями раньше, 21 мая, мама села на поезд до Рима, но так и не добралась туда. В последнее время она навещала меня по крайней мере раз в месяц, приезжая на несколько дней. Меня тяготило ее присутствие. Вставала она с рассветом и по своему обыкновению сразу принималась наводить порядок – на кухне и в гостиной не было угла, который миновала бы уборка. Я пыталась снова заснуть, но не получалось: все тело было напряжено, и казалось, останься я еще на мгновенье в кровати – и наверняка превращусь в девочку с лицом, изъеденным морщинами. Потом мама приносила кофе, и я тут же переворачивалась на бок, чтобы не соприкасаться с ней, когда она садилась на край кровати. Ее общительность меня раздражала: мама заводила дружбу с

продавцами, с которыми за десять лет я едва ли обменялась парой слов; она отправлялась на прогулку по городу, прихватив с собой случайных попутчиков; перезнакомилась со всеми моими друзьями и болтала с ними о своей жизни, вечно рассказывая одни и те же истории. В ее присутствии я была зажатой и скованной.

Замечая, что утомляет меня, она возвращалась в Неаполь. Собирала свои вещи и, напоследок прибравшись в доме, уверяла, что скоро приедет снова. Стоило ей уехать, как я принималась придавать прежний облик комнатам, где мама успела навести свой собственный порядок. Я ставила солонку туда, где она стояла у меня годами, возвращала стиральный порошок на его привычное место, раскладывала все в ящиках комода так, как я привыкла, и снова устраивала рабочий беспорядок в кабинете. И запах, отмечавший мамино присутствие, – он приносил в дом беспокойство – чуть погодя уходил, как уходит аромат летнего дождя.

Часто она опаздывала на поезд. И тогда садилась на тот, что шел следом или на день позже, но я все равно не могла к этому привыкнуть и волновалась. Звонила ей, встревоженная. И, услышав наконец в трубке мамин голос, отчитывала ее – довольно сухо, впрочем, – за легкомыслие: как так получилось, что она опоздала, и почему не предупредила меня? Она беспечно и нехотя оправдывалась, мол, зачем я сгущаю краски, что может случиться с ней, в ее-то возрасте? “Да все что угодно”, – отвечала я. И рисовала в воображении сеть неприятностей, сплетенную специально для того, чтобы она исчезла – навсегда. В детстве я подолгу ждала, когда мама наконец придет домой, ждала на кухне, прижавшись лбом к оконному стеклу. Вот бы сейчас она появилась в конце улицы, окутанная хрустальным облаком. Я дышала на стекло, и оно запотевало; мне не хотелось видеть улицу без мамы. Вечерело, и моя тревога становилась до того невыносимой, что по телу бежала дрожь. Тогда я мчалась в кладовку, что примыкала к спальне родителей и где не было ни окон, ни света. Запиралась там и плакала в глухой темноте. Это помогало. В кладовке было настолько жутко, что страх – а вдруг с мамой что-то случится – отступал. В этом черном, затхлом до удушья углу с неистребимым запахом средства от клопов и тараканов меня обступали наваждения, которые на долю секунды словно заволакивали мои зрачки и лишали дыхания. “Вот вернешься, и убью тебя”, – думала я, будто это мама запирала меня в кладовке. А потом, едва заслышав в коридоре ее голос, спешила выскочить наружу и подходила к ней с безразличным видом. О той кладовке я вспомнила, узнав, что мама часто садилась на поезд, чтобы ехать ко мне, но так и не появлялась у меня дома.

Тем вечером она позвонила. Спокойным голосом сообщила, что не может мне ничего рассказать: рядом с ней человек, при котором она говорить не станет. Потом рассмеялась и повесила трубку. Меня охватила растерянность. Я подумала, а вдруг мама просто пошутила, – и стала ждать еще одного звонка. Несколько часов кряду я ломала голову над происходящим, напрасно сидя у телефона. Миновала полночь, и я позвонила своему другу-полицейскому, он попытался успокоить меня: волноваться ни к чему, он попробует что-нибудь выяснить. Прошла ночь, а от мамы все не было вестей. Она ведь собралась ехать ко мне. Вдова Де Ризо, ее ровесница, с которой мама то была крайне любезна, то враждовала, сказала мне по телефону, что проводила ее на вокзал. Пока мама стояла в очереди за билетом, вдова сходила купить ей бутылку воды и журнал. Поезд был переполнен, но маме все-таки удалось найти место у окна – вокруг сидели сплошь военные, ехавшие на побывку. Мама с вдовой попрощались, наказав друг другу беречь себя. Во что мама была одета? Да как обычно, в то, что носит уже целый век, – юбку и синий жакет, стоптанные туфли на низком каблуке; с собой у нее были черная сумочка и потертый дорожный чемодан.

В семь часов утра мама позвонила снова. Я набросилась на нее с вопросами (“Ты где? Откуда ты сейчас звонишь? С кем ты?”), однако вместо ответа она громко, внятно и будто смакуя опрокинула на меня целый ушат крепких ругательств на своем родном диалекте. И повесила трубку. У меня внутри все перевернулось. Я снова позвонила другу-полицейскому, озадачив его своими путаными фразами, в которые, мешаясь с привычным итальянским, хлынул диалект. Он спросил, не замечала ли я в последнее время за мамой особенной подавленности, уныния. Я не знала, что ответить. Наконец сказала, что мама и правда не такая, как раньше, – прежде она была спокойной, уравновешенной, веселой. Пусть даже она часто смеялась без причины и слишком много разговаривала; но ведь для пожилых людей это не редкость. Друг заверил меня, что со стариками такое случается – по весне, когда солнце начинает припекать, они совершают чудачества, каких только фокусов не выкидывают; волноваться нечего. Но я все равно переживала, исходила город вдоль и поперек, выискивая маму прежде всего в тех местах, где ей нравилось гулять.

В третий раз она позвонила около десяти вечера. Принялась сбивчиво рассказывать о человеке, который преследовал ее и пытался похитить, завернув в ковер. Она звала меня на помощь, немедленно. Я умоляла ее объяснить, где она находится. Тогда у мамы изменился голос, она ответила, что лучше мне не вмешиваться. “Запри дверь, никому не открывай”, – наказала она. Потому что тот человек преследует и меня тоже. А потом добавила: “Ложись-ка спать. Я пойду приму ванну”. Вот и все.

На следующий день двое мальчиков заметили в нескольких метрах от берега ее тело, которое колыхалось на воде. На ней был только лифчик. Чемодан так и не нашли. Синий жакет тоже. Не обнаружили ни трусов, ни колготок, ни туфель; сумочка с документами тоже исчезла. Однако на пальце были два кольца, обручальное и то, какое надевают при помолвке. В ушах – серьги, подаренные моим отцом полвека тому назад.

Мне показали тело. Приблизившись к этому бесцветному предмету, я подумала, что, наверное, должна скорее прижаться к нему, чтобы не носить на себе клеймо жестокосердия. На теле не было следов насилия. Только синяки кое-где, судя по всему оттого, что волны, в ту ночь небольшие, ударяли его о прибрежные рифы. Мне показалось, что вокруг ее глаз пролегли следы густого макияжа. Я долго смотрела на тело, чувствуя неловкость при виде этих бледных, посеревших ног, до странности молодых для женщины шестидесяти трех лет. Ту же неловкость и смущение я испытала, заметив, что лифчик был не из числа тех застиранных и вылинявших, какие мама обычно носила, – совсем напротив. Под невесомым, тончайшей выработки кружевом чашечек темнели соски. Чашечки соединяла перемычка в виде трех букв “V” – фирменный знак сестер Восси, владелиц дорогого магазина женского белья в Неаполе. Когда мне отдали тот лифчик вместе с серьгами и кольцами, я долго нюхала его. У него был отвратительный запах новой ткани.

Глава 2

На похоронах я с удивлением поймала себя на мысли, что наконец-то свободна от обязанности заботиться о ней, волноваться. По телу заструилось тепло, и между ног стало влажно.

Я шла в самом начале длинной вереницы родственников, друзей, знакомых. Обе мои сестры крепко прижались ко мне. Одну я держала под руку, опасаясь, что она вот-вот потеряет сознание. Другая вцепилась мне в плечо, словно не видя ничего вокруг от застилавших глаза слез. Я испугалась той неожиданной нутряной реакции своего тела, будто почуяв в ней угрозу наказания. Мои глаза так и оставались сухими: слезы не текли, а может быть, я просто не хотела слез. Вдобавок я оказалась единственной, кто произнес слова в оправдание отца, который не явился на похороны и даже не прислал цветов. Сестры не стали

скрывать, что осуждают меня, и явно старались продемонстрировать собравшимся, что у них-то достаточно слез, которые они готовы пролить и вместо меня, и вместо отца. Я чувствовала их молчаливые укоры. Когда процессия поравнялась на мгновенье с темнокожим человеком, который нес на плече несколько картин в рамах – на одном из холстов, развернутом в нашу сторону, грубыми мазками была изображена разнузданная цыганка, – я подумала: хоть бы сестры с родственниками этого не заметили. Картины написал отец. Возможно, в ту минуту он тоже стряпал что-то подобное. Отвратительную цыганку продавали на улицах и ярмарках уже не один десяток лет, отец только и успевал штамповать копии, ради нескольких лир подчиняясь, как это всегда бывает, требованиям вульгарного вкуса мелкой буржуазии. Вот ирония жизни, словно нарочно подгадывающей моменты для встреч, расставаний, для обнажения застарелых обид – и теперь подстроившей так, что на мамины похороны явился не отец, но его пошлая картина, которую мы с сестрами ненавидим сильнее, чем его самого.

На меня навалилась усталость. С тех пор как я приехала в Неаполь, не было ни минуты передышки. С утра до вечера мы с дядей Филиппо, маминым братом, толклись в приемных мелких чиновников, занимавшихся бумажной волокитой, и пытались добиться от них ускорения хода дела, или же, отстояв длинную очередь, сами просили служащих устранить непреодолимые препятствия в обмен на солидные подарки. Иногда дяде удавалось добиться кое-каких результатов, если он долго потрясал перед чиновниками пустым рукавом своего пиджака. Он потерял правую руку уже немолодым, в пятьдесят шесть лет, работая в цеху у токарного станка, и с тех пор нередко пользовался своей инвалидностью, чтобы добиться желаемого или поставить на место тех, кто насмехался над его увечьем: едва ли они понимают, что значит оказаться в подобном положении. Однако, как мы с ним убедились, обивая пороги чиновников, наилучшим средством достичь цели были все-таки деньги, совсем теми людьми не заслуженные. Истратив немалые суммы, мы быстро получили все необходимые документы, а бесчисленные начальники – настоящие или мнимые – перестали чинить нам препятствия: похороны могли пройти по высшему разряду, и, что оказалось самым сложным, нам удалось добиться места на кладбище.

Между тем тело Амалии, моей мамы, исковерканное вскрытием, принимало все более удручающий вид, пока мы занимались документами, в которых этому телу приписывались имя и фамилия, дата рождения и смерти, и пытались поладить с чиновниками, то грубыми, то бессовестно любезными. Мне не терпелось поскорее освободиться от этого бремени, однако я была еще не полностью

изнурена и нашла в себе силы занять место в процессии среди тех, кто нес на плечах гроб. Родственники и друзья начали было сопротивляться: не женское, мол, это дело. И потом я пожалела-таки о своем решении. Мужчины, которые несли гроб вместе со мной (двоюродный брат и мужья моих сестер), были высокого роста, гроб накренился, и всю дорогу до кладбища я боялась, как бы доски не раздавили мне ключицу, не впились в шею вместе с мертвым телом, которое на них лежало. Наконец гроб поставили на катафалк и покатили прочь – теперь на мне не лежало тяжкого бремени; всколыхнулось чувство вины за это ощущение свободы, и все накопившееся внутри напряжение излилось теплой волной в промежность. Жаркая влага сочилась из моего тела непроизвольно, сама собой, будто какие-то посторонние, чуждые силы проникли в меня и, сговорившись, решили подать этот сигнал. Похоронная процессия двигалась к площади Карла III. Бледно-желтый фасад Приюта для бедных[1 - Королевский приют для бедных – памятник барочной архитектуры в центре Неаполя; работа над проектом началась в 1749 году по приказу короля Карла III из династии испанских Бурбонов, руководил ею архитектор Фердинандо Фуга. Приют вмещал около 8 тысяч бедняков; сегодня там проживают порядка 80 бедных семей. – Здесь и далее примеч. переводчика.], казалось, едва сдерживает напор квартала Рионе Инчис, навалившегося на него всей своей тяжестью. В моей памяти топография города была зыбкой, напоминала шипучий напиток: если встряхнуть, сплошная пена. В зное, под серым, пыльным светом солнца улицы теряли очертания, и я мысленно возвращалась к дням детства и юности, когда я брела от зоопарка к ботаническому саду или шла по вечно сырым, покрытым скользким мхом камням рынка Сант-Антонио Абате. Мама словно забирала с собой улицы и площади вместе с их именами. Я смотрела на отражения в окнах – свое и сестер в обрамлении похоронных венков; казалось, это фотографии, сделанные в полумраке и совершенно ненужные, которые не стоит хранить ради воспоминаний. Подошвами туфель я чувствовала камни мостовой и пыталась не вдыхать запах цветов с гроба, которые уже сопрели и начали отдавать гнилью. Я опасалась, как бы кровь не стекла до щиколоток (сестры наверняка это заметят), и попробовала отойти в сторонку. Не тут-то было. Пришлось шагать рядом с сестрами, пока процессия огибала площадь и поднималась по крутой улице Дон Боско; потом наша вереница растворилась в потоке машин и людей. Дядья, тетушки, двоюродные дядья, шурины и невестки, кузены принялись обнимать сестер и меня: всех этих родственников я едва знала, к тому же время сильно изменило их, я видела этих людей лишь в детстве, а некоторых, наверное, не видела никогда. Те немногие, которых я помнила отчетливо, на похороны не приехали. Впрочем, не исключено, что они были здесь, но я просто не узнала их, ведь с детства в памяти сохранились лишь отдельные черты: у одного косил глаз, другой хромал, а у кого-то была золотистая кожа. Люди,

которых я не знала даже по имени, отводили меня в сторону и рассказывали о своих застарелых обидах, перечисляя несправедливости, какие они вынуждены были терпеть от моего отца. Некие юноши, крайне любезные и обходительные, безупречные в разговорах ни о чем, интересовались, все ли у меня в порядке, как я поживаю, кем работаю. И я отвечала: спасибо, хорошо, все в порядке, я художник-иллюстратор, а как дела у вас? Морщинистые женщины, с ног до головы в черном – не считая бледных лиц, – воспевали редкостную красоту и великодушие Амалии. Некоторые из них обнимали меня так крепко, не скупясь при этом на слезы, что я почти задыхалась, а платье становилось отвратительно влажным от их пота и обильных слез, и эта влага ползла до самого паха, до бедер. Впервые в жизни я была рада тому, что надела темное платье. Я уже выбиралась из толпы провожавших, когда дядя Филиппо выкинул один из своих фокусов. Что-то нашло на него, какая-то шальная мысль промелькнула в его семидесятилетней голове, и он сорвался. Начал во весь голос сквернословить на своем родном диалекте, отчаянно жестикулируя единственной рукой; все оторопели.

“Да вы только посмотрите на Казерту!” – кричал он, точно обезумев, повернувшись ко мне и сестрам. И все повторял эту фамилию, которая с детства вызывала у меня страх; я почувствовала себя скверно. Потом дядя Филиппо, побагровев, прибавил: “Ни стыда, ни совести. Это на похоронах-то Амалии. Будь здесь сейчас твой отец, он убил бы нечестивца”.

Мне не хотелось даже слышать о Казерте, воспоминания о котором были как сгусток моих детских тревог. Сделав вид, что ничего особенного не происходит, я попыталась успокоить дядю Филиппо, но он и слушать не стал. Словно желая рассеять мои страхи, нахлынувшие при произнесении этого имени, он крепко прижал меня к себе единственной рукой. Я резко отстранилась и, пообещав сестрам, что приду на кладбище ровно к назначенному часу, направилась к площади. Быстрым шагом дошла до бара. Там спросила, где у них туалет, и, пройдя вглубь заведения, заперлась в зловонном закутке с грязным унитазом и пожелтевшей раковиной.

Крови вытекло много. Меня тошнило, немного кружилась голова. И вот она мама: широко расставив ноги, вынимает из промежности перепачканную кровью полоску ткани, отдирая ее, словно приклеенную, удивленно оборачивается и без тени смущения говорит: “Ступай, ступай. Нечего тебе тут делать”. Не выдержав, я расплакалась – впервые за долгие годы. Я плакала, барабаня кулаком по раковине, как будто стараясь задать четкий ритм своим слезам. Осознав это, я

остановилась, вытерла кровь бумажными салфетками, вышла и отправилась на поиски аптеки.

Именно тогда он мне и повстречался. “Могу ли я вам чем-то помочь?” – спросил он, после того как я налетела на него на тротуаре: за считанные секунды почувствовала щекой ткань его рубашки, увидела синий колпачок ручки, который торчал из кармана пиджака, отметила неуверенный тон его голоса и приятный запах, увидела гладкую шею и густые, аккуратно причесанные седые волосы.

– Вы не знаете, где аптека? – спросила я, не глядя ему в лицо и отшатнувшись после внезапного столкновения.

– На проспекте Гарибальди, – ответил он, пока я пятилась, чтобы хоть немного увеличить расстояние между собой и его худощавой фигурой, которая вблизи все еще расплывалась в большое пятно. И вот теперь – в своей белой рубашке и темном пиджаке – он словно был вырезан на фасаде Приюта для бедных. Я смотрела на него: бледное, гладко выбритое лицо, а во взгляде, который мне не понравился, ни искры удивления. Едва слышно я поблагодарила и поспешила в указанную сторону.

Он что-то говорил мне вслед, и его слова, сперва учтивые, превращались постепенно в шипение, вкрадчивое и бесстыдное. Он цедил непристойные ругательства на местном диалекте – вязкие, клейкие звуки ползли за мной, слипаясь в тягучую массу, смесь спермы, слюны, фекалий, мочи, всех выделений человеческого тела, и это было про меня, и сестер, и маму.

Я резко обернулась, ошеломленная этими беспричинными оскорблениями. Но мужчина исчез. Может быть, он перешел на другую сторону улицы и пропал из вида за потоком машин, а может быть, завернул за угол, направившись к Сант-Антонио Абате. Я выждала, пока сердце не перестанет колотиться и не пройдет неприятный позыв убить этого человека. Купив в аптеке пачку прокладок, я вернулась в бар.

Глава 3

На кладбище я приехала на такси, едва успев увидеть, как гроб опускается в облицованное серым камнем углубление; потом его скрыла земля. Сестры уехали сразу после погребения, сели в машины вместе со своими мужьями и детьми. Они ведь так ждали той минуты, когда можно будет вернуться домой и все забыть. Мы обнялись на прощание, договорившись скоро увидеться, хотя и знали, что этого не случится. Самое большее – мы будем изредка звонить друг другу, с каждым телефонным разговором оценивая степень взаимной разобщенности и понимая, насколько чужими мы стали. Уже давно мы живем в разных городах, у каждой своя жизнь, а прошлое, которое нас связывает, вспоминать неприятно. О том, что мы на самом деле могли бы сказать друг другу в наши редкие встречи, мы предпочитали молчать.

Распрощавшись с сестрами, я подумала, что дядя Филиппо наверняка пригласит меня к себе домой, ведь я гостила у него все эти дни. Но он не пригласил. Утром я говорила ему, что после похорон должна зайти в мамину квартиру, забрать там кое-какие вещи, расторгнуть договоры об аренде и о плате за свет, газ, телефон; дядя Филиппо, наверное, решил, что приглашать меня бессмысленно. Он побрел прочь, не попрощавшись, – сутулый, с трудом передвигавший ноги, измученный артритом и горькими, внезапно нахлынувшими на похоронах воспоминаниями о старых обидах, толкнувшими его на кощунственную брань.

Все разошлись, я осталась одна. Толпа родственников рассыпалась по своим пригородам. Безучастные могильщики закопали маму на дне ямы вместе с источающими духоту оплывшими свечами и венками гнилых цветов. У меня болели почки и сдавило низ живота. Собравшись наконец с силами, я побрела вдоль обветшавшей стены ботанического сада к площади Кавура, вдыхая тяжелый воздух, пропитанный выхлопами машин и людским гомоном, в котором сплетались фразы на местном диалекте, – и мне не хотелось пытаться разобрать их.

Это был родной язык моей мамы, и напрасно я старалась забыть его, выкинуть из памяти вместе с ворохом всего прочего. Когда мама навещала меня или, наоборот, я приезжала к ней в Неаполь – всего-то на полдня, торопясь поскорее вернуться домой, – она, прилагая большие усилия, пыталась говорить на правильном итальянском, и выходило нелепо; тогда, только ради того чтобы выручить ее, я неохотно переходила на диалект. При этом я не испытывала ни радости, ни ностальгии: моя речь была неестественной, скованной, боязливой, фразы выходили плоскими, вымученными, бедными, будто произнесенными на малознакомом иностранном языке. Каждый звук давался с трудом и был

отголоском ожесточенных ссор между Амалией и моим отцом, между отцом и ее родственниками, между ней и родными отца. Мое терпение истощалось. Я быстро переходила на свой привычный итальянский, а мама с облегчением возвращалась к диалекту. Теперь же, когда мама умерла и этим пыткам настал конец – а значит, меня больше не станут терзать воспоминания, которые всплывали при звуках неаполитанской речи, – я чувствовала странное беспокойство, слыша на улицах местный говор. Обратившись к продавцу на диалекте, я купила жареную пиццу, щедро начиненную рикоттой. После нескольких дней почти что голодания пицца показалась мне необыкновенно вкусной; я ела ее прямо на ходу, кружа по неопрятным скверам с чахлыми олеандрами и поглядывая на стариков, сбившихся в стайки. Назойливое мелькание людей и снование машин за оградами скверов утомляло, и я решила идти к маминой квартире.

Амалия жила на третьем этаже старинного дома, спрятанного за строительными лесами. Это была одна из тех построек в историческом центре города, какие по ночам почти что пустуют, а днем наполняются суетливыми офисными служащими – они обновляют лицензии, мастерят свидетельства о рождении и виды на жительство, сидят за компьютерами, бронируя и покупая билеты на самолеты, поезда и корабли, оформляют страховки на случай кражи, пожара, болезни и смерти, составляют фальшивые декларации о доходах. Обычных жильцов в доме мало, и когда мой отец двадцать с лишним лет назад – Амалия тогда объявила ему, что хочет с ним расстаться, и мы с сестрами безоговорочно поддержали ее решение – выставил нас всех четырех за порог, именно здесь нам удалось снять квартиру. Сам дом никогда мне не нравился. Он вселял ту же тревогу, что и тюрьмы, здания судов, больницы. Мама, наоборот, ликовала: дом казался ей роскошным. Хотя на самом деле он был уродливый и облезлый, уродлива была даже мощная парадная дверь, которую приходилось буквально штурмовать всякий раз после очередной починки замка. Пыльные ставни почернели от выхлопных газов, а латунные украшения на них никто, похоже, не протирал с начала века. В длинной, похожей на грот галерее, которая вела во внутренний двор, всегда кто-нибудь отирался: студенты, прохожие, ждавшие автобус, что останавливался в трех метрах отсюда, торговцы зажигалками, бумажными салфетками, горячей кукурузой или жареными каштанами, изнуренные жарой или укрывшиеся от дождя туристы, а также сомнительные типы самых разных национальностей, из тех, кто вечно разглядывал витрины соседних магазинов. Эти последние, персонажи крайне подозрительные, выжидали непонятно чего, переминались с ноги на ногу, всматриваясь в фотографии, выставленные за стеклом пожилым фотографом, который держал в нашем доме мастерскую, – подолгу изучали снимки с новобрачными в свадебных

нарядах, с улыбающимися, неотразимыми девушками и бравыми юнцами в военной форме. Несколько лет назад там была выставлена даже карточка Амалии, сделанная на документы. Я тогда строго попросила фотографа убрать снимок, пока его не увидел ненароком мой отец, который в приступе гнева не преминул бы разбить витрину.

Не поднимая глаз и не глядя по сторонам, я пересекла внутренний дворик и прошла через крошечный сад, разбитый перед стеклянной дверью, за которой бежала вверх лестница “Б”. Консьержа не оказалось на месте, и я, обрадовавшись этому, поскорее юркнула в лифт. Единственное место во всей громадине, которое было мне по душе. Я не любила те железные гробы, что в один миг поднимались на нужный этаж или, едва успеешь нажать на кнопку, обрушивались вниз, от чего у меня всегда сводило желудок. У этого лифта стенки обшиты деревом, дверь – из стекла, с серым узором по краю, а ручки латунные, искусного литья. Внутри кабины – две изящные скамьи друг напротив друга, и зеркало тут есть, а свет приглушенный. Лифт двигался размеренно, чинно, мелодично поскрипывая на все лады. Ящички для монет, установленные на каждом этаже в пятидесятые годы, – солидные, с прорезью в выпуклой крышке, – всегда подпевали в тон. Раньше прокатиться на лифте можно было, только если бросишь монету в щель ящичка в кабине; он по-прежнему тут, справа, хотя и давно потерял свое назначение. Позвякивал разве что пустотой, но совсем не раздражал меня, наоборот – скорее, придавал лифту еще больше степенности.

Я села на скамью и, как в детстве – всякий раз, когда хотела успокоиться, – вместо того чтобы нажать на кнопку третьего этажа, поднялась на пятый. На пятом было пусто и темно с тех самых пор, как много лет назад адвокат, живший там, съехал, прихватив с собой даже лампочку, которая освещала лестничную площадку. Лифт остановился, я ощутила, как дыхание нырнуло вниз, к животу, а потом медленно поднялось к ключицам. Через несколько секунд свет в кабине, как всегда, погас. Я хотела было протянуть руку к створке: если открыть дверцу, свет снова зажжется. Но не пошевелилась, продолжая вместо этого следить за дыханием, колышущимся в теле. Слышно было только, как копошатся жуки-древоточцы.

Лишь за считанные месяцы (пять или шесть?) до этого, поддавшись внезапному порыву искренности, я рассказала маме – как раз во время одной из моих кратких поездок сюда, – что подростком любила вот так сидеть в лифте, поднявшись на последний этаж. Наверное, я искала тогда близости с ней, какой

между нами никогда не существовало; а может, подсознательно пыталась дать ей понять, что всегда была несчастлива. Однако мой рассказ, похоже, только позабавил маму, и ей показалось занятным, что я сидела, замерев, подвешенная над пустотой, в лифте-развалюхе.

“У тебя когда-нибудь был мужчина?” – спросила я еще, сгорая от смущения. Я имела в виду, был ли у нее любовник после развода с отцом. Совершенно ошеломляющий вопрос, учитывая то, о чем мы с мамой вообще говорили со времен моего детства. Но мама продолжала так же расслабленно сидеть на деревянной скамье лифта в нескольких сантиметрах от меня, словно бы ничуть не удивившись. И ее голос даже не дрогнул, когда она твердо и просто ответила “нет”. И ничто в ней не выдавало неискренности. Сомнений не было. Она лгала.

“Любовник все-таки есть”, – сказала я ледяным тоном.

Мамина реакция оказалась слишком бурной, притом что обычно она вела себя спокойно и сдержанно. Она высоко задрала платье и указала на свои высоко подтянутые, обтрепавшиеся розовые трусы. Посмеиваясь, буркнула что-то про дряблое тело, обвисшие бока, складки, все повторяя: “Вот, потрогай тут” и пытаясь поймать мою руку, чтобы ткнуть ею в свой белый, оттопыренный живот.

Отпрянув, я прижала ладонь к сердцу, которое бешено колотилось. Мама опустила подол, однако ноги ее все равно остались голыми, желтыми в свете лифта. Я досадовала, что привезла ее на свой пятый этаж, открыла секрет своего уединения. Поскорее бы она прикрыла ноги. “Выйди”, – сказала я ей. И мама вышла: она никогда не перечила мне. Шагнула из кабины под завесу темноты. Оставшись в лифте одна, я почувствовала сладкое умиротворение. Непроизвольным движением закрыла двери. Несколько секунд, и свет погас.

“Делия”, – тихо, ровным голосом позвала мама. Она никогда не выказывала беспокойства в моем присутствии, и мне подумалось, что в тот раз она тоже по своей старой привычке, скорее, хотела успокоить меня, чем сама искала утешения.

Я еще немного посидела, впитывая звук своего имени, похожий на далекое эхо прошлого, просто звук, который беззвучно раздается в голове. И мамин голос будто пришел из давних времен детства, когда она искала меня по всей квартире и никак не находила.

И вот я снова сижу в лифте, пытаясь побыстрее растворить во времени воспоминание о том дне, о том эхе. И у меня есть ощущение, будто я здесь не одна. За мной кто-то наблюдает, но не Амалия – такая, какой она была несколько месяцев назад, а теперь мертвая, – нет, наблюдатель – это я сама: вышла на лестничную площадку и смотрю оттуда на ту, что сидит в лифте. Когда случалось нечто подобное, я ненавидела себя. Внутрь прокрался стыд за то, что я, укрывшись в собственном молчании, замерла в этой старомодной кабине, подвешенная между пустотой и темнотой, спряталась в гнезде на ветке: гнездом был лифт, а веткой – длинный стальной трос, который устало покачивался в шахте. Потянувшись к двери, я нащупала и повернула ручку. В кабине зажегся свет, и темнота юркнула за узорчатые стеклянные створки.

Я знала это всегда. Знала, что это черта, за которую в своих воспоминаниях об Амалии мне никак не удается переступить. Быть может, я оказалась здесь как раз для того, чтобы наконец переступить ее. Испугавшись этой мысли, я нажала на кнопку третьего этажа, лифт со скрежетом вздрогнул. И, скрипя, начал спускаться к маминой квартире.

Глава 4

Ключи я попросила у соседки, вдовы Де Ризо. Она дала мне их, но наотрез отказалась идти в квартиру вместе со мной. Вдова была тучной и подозрительной, на правой щеке – крупная родинка, из которой пробивались два толстых седых волоса; от самого лба шел прямой пробор, жесткая коса закручена на затылке в пучок. Де Ризо была одета в черное – возможно, она ходила так всегда, или же еще не сняла траур. С порога квартиры она проследила за тем, чтобы я открыла каждый замок нужным ключом. Впрочем, мамина квартира оказалась заперта небрежно. Против своего обыкновения Амалия закрыла ее только на один замок, тот, в котором ключ нужно повернуть дважды. Второй замок, с пятью поворотами, был открыт.

– Как же так? – обратилась я к соседке, распахивая дверь.

Вдова задумалась.

– Ветер в голове, – ответила она, но потом добавила, видимо, сочтя свои слова чересчур резкими: – Просто была счастлива. – И снова задумалась. Де Ризо, несомненно, хотела бы посплетничать, но явно опасалась призрака мамы, который парил над лестничными пролетами и в квартире, и, конечно же, у вдовы дома тоже. Я снова пригласила Де Ризо войти, надеясь, что ее болтовня отвлечет меня от мыслей и воспоминаний. Вздрогнув, она ответила решительным отказом, и глаза ее налились слезами.

– Отчего она была счастлива? – спросила я.

Поколебавшись, вдова все-таки решилась рассказать, что знала.

– Некоторое время назад ее стал навещать один синьор, высокий такой, солидный…

Я взглянула на нее с ненавистью. Мне не хотелось слышать продолжение.

– Это был мамин брат, – сказала я.

Вдова прищурилась, оскорбившись тем, что ее держат за наивную. Они с мамой дружили с давних пор, и Де Ризо прекрасно знала дядю Филиппо. Он не был ни высок, ни солиден.

– Брат, значит, – повторила она с наигранной снисходительностью.

– По-вашему, нет? – осведомилась я, возмущенная таким тоном. Вдова сухо попрощалась со мной и закрыла дверь.

Когда входишь в дом человека, умершего совсем недавно, трудно поверить, что там уже никто не живет. Дело вовсе не в призраках, их нет и в помине, – а в том, что дом еще хранит следы теплившейся в нем жизни. На кухне тихо шелестела вода, и на долю секунды реальность смешалась с вымыслом, возникло ощущение, будто мама не умерла и ее смерть – выдумка, неправдоподобная история, страшная и длинная, нашептанная бог весть кем и когда. А мама, разумеется, дома, живая, стоит на кухне и моет посуду, приговаривая что-то. Но ставни были закрыты наглухо, в комнатах темно. Включив свет, я увидела, что из старого латунного крана в пустую раковину бежит струйка воды.

Я закрыла кран. Мама была воспитана в те времена, когда люди не терпели расточительности. Она не выбрасывала черствый хлеб, и даже твердая корочка от сыра шла в дело: мама нарезала ее в суп, чтобы придать ему аромат и насыщенность; она почти никогда не покупала мясо, а брала у мясника задаром кости и обрезки, варила бульон и ела, смакуя, словно те кости делали кушанье особенно питательным и вкусным. И конечно же, она никогда не оставила бы кран незакрытым. Она не тратила воду понапрасну, и эта бережливость превратилась в привычку, в нечто само собой разумеющееся, в естественный жест, настроив на особый лад даже ее слух, голос. В детстве, случись мне оставить течь из крана хоть самую тоненькую ниточку воды, неприметную и бесшумную, мама буквально через мгновенье говорила – совсем без укора: “Делия, кран”. Меня охватила тревога: за эти последние часы своей жизни мама по неосмотрительности растратила больше воды, чем за все минувшие годы. И вот ее призрак уже соткался над кухней, покачивается под потолком на фоне голубой плитки с майоликой.

Я поспешно вышла. Принялась кружить по спальне, собирая в пакет те немногие вещи, которыми мама дорожила: семейный фотоальбом, браслет, старое зимнее пальто еще пятидесятых годов, которое очень нравилось и мне… Все остальное не привлекло бы даже старьевщиков. Мебель обветшала и выглядела убого, кровать – с металлической сеткой и матрасом, простыни и одеяла заштопаны с аккуратностью, какой, учитывая их возраст, они не заслуживали. Меня поразило то, что ящик комода, где мама хранила нижнее белье, был пуст. Отыскав мешок с грязной одеждой, я заглянула внутрь. Там была только добротная мужская рубашка.

Я изучила ее повнимательнее. Голубая сорочка среднего размера, купленная недавно и выбранная молодым человеком – или, по крайней мере, человеком с юношеским вкусом. Воротничок запачкан, но запах, шедший от ткани, не был неприятен: пот оттенялся хорошим дезодорантом. Тщательно сложив рубашку, я убрала ее в свой пакет. Вещь явно не из гардероба дяди Филиппо.

В ванной я не обнаружила ни зубной щетки, ни пасты. На крючке висел мамин старый голубой халат. Туалетная бумага сморщилась от брызг. Возле раковины пакет, явно предназначенный на выброс. Но там оказался вовсе не мусор с кухни. Из него шло зловоние, невыносимый запах уставшего человеческого тела, который пристает к одежде и к старым вещам, вплетается с годами в ткань, обволакивая каждую ниточку пережитыми эмоциями. Преодолевая отвращение, я стала вытаскивать из пакета мамино нижнее белье: старые белые и розовые

трусы, заштопанные тут и там, с растянутыми резинками, проглядывавшими сквозь дырки, словно пунктир железнодорожных рельсов между одним тоннелем и другим; бесформенные линялые лифчики, ветхие комбинации, подвязки для чулок, какие перестали носить еще лет сорок тому назад, но которые мама зачем-то хранила; колготки в плачевном состоянии и нижние юбки, вышедшие из моды и снятые с производства, застиранные, с пожелтевшим кружевом.

Амалия всегда одевалась в лохмотья по бедности, а также из привычки не привлекать к себе внимания, укоренившейся в ней не одно десятилетие назад, – чтобы не поджигать ревность отца. Но вот она, похоже, почему-то решила разом избавиться от всех своих обносков. Вспомнился единственный предмет одежды, какой был на маме, когда ее вытащили из воды, – изысканный, совершенно новый лифчик с тремя буквами “V” между чашечками. При мысли об этом кружевном лифчике моя тревога возросла. Так и оставив старое белье на полу, не в силах собрать и даже дотронуться до него, я закрыла дверь ванной и прислонилась к ней.

Но все напрасно – уйти от мыслей не удалось: ванная комната так и стояла у меня перед глазами. Теперь Амалия, прислонившись к раковине, пристально наблюдает, как я делаю эпиляцию. Наношу на ноги полоски обжигающего воска и затем, мыча от боли, резко отрываю их от кожи. А она тем временем рассказывает, что в молодости стригла волосы на ногах ножницами. Однако волосы быстро отрастали, жесткие и безобразные, как колючая проволока. На море, прежде чем надеть купальник, она так же подстригала лобок.

Я предложила маме попробовать воск. Аккуратно нанесла его ей на икры, на внутреннюю часть худых, усохших бедер и возле паха, строго отчитав – незаслуженно строго – за штопаную нижнюю юбку. Потом отодрала воск. Мама, не сморгнув, наблюдала. Неосторожно, грубо я отрывала полоски воска, словно хотела устроить маме испытание болью, а она стояла смирно и не дыша, будто смирилась со своей ролью. Но кожа не вынесла испытания. Вмиг покраснела и вслед за тем побагровела, ноги покрылись сеткой порванных капилляров. “Ничего страшного, пройдет”, – сказала я, неискренне и без горечи упрекнув себя за устроенную пытку.

Зато теперь я упрекала себя по-настоящему и, прижавшись спиной к двери ванной, отчаянно пыталась отогнать эти образы. Отойдя в конце концов от двери, я мысленно растворила в полумраке коридора воспоминание о ее

побагровевших ногах и пошла на кухню за сумкой. Потом вернулась в ванную, выбрала из разбросанных по полу вещей наименее истрепавшиеся трусы. Приняла душ, поменяла прокладку. Свои трусы я оставила на полу среди белья Амалии. Проходя мимо зеркала, улыбнулась себе через силу, чтобы успокоиться.

Долго, потеряв счет времени, я сидела на кухне у окна, прислушиваясь к людскому гомону, шуму мопедов, отголоскам мостовой. С улицы шел затхлый запах стоячей воды, он полз по строительным лесам. Я изнемогала от усталости, но не хотела ни спать на кровати Амалии, ни ехать к дяде Филиппо, ни звонить отцу или проситься на ночь к вдове Де Ризо. Мир этих стариков – неприкаянных, потерянных, до сих пор привязанных к образу своего “я”, который давно поглотило время, то превозносивших минувшую эпоху, то враждовавших с тенями прошлого, – этот мир был невыносим и уныл. Особенно тяжело мне было чувствовать собственную отстраненность от того, чем они жили. Я пыталась приблизиться к ним, уловить тон голоса, разглядеть детали. Я уже чувствовала присутствие Амалии, которая наблюдала за тем, как я мажу лицо кремом, наношу макияж, смываю его. Я с отвращением представляла себе ее старость, сношения с тем неизвестным мужчиной, непрерывное празднество тела – возможно, в молодости она так и вела бы себя с моим отцом, не усмотри он в ее игривости желание нравиться всем подряд, намек на измену.

Глава 5

Спала я не больше пары часов, без сновидений. Когда я открыла глаза, было темно, и только островок дымчатого света от уличных фонарей лежал на потолке, занесенный в комнату из открытого окна. И прямо надо мной, словно ночная бабочка, – Амалия, молодая, лет двадцати, в зеленом пеньюаре, с огромным животом последних месяцев беременности. И хотя лицо ее было безмятежно, она то и дело хваталась за поясницу, вздрагивая от набежавшей боли. Я зажмурилась, чтобы дать ей время стереть свои контуры с потолка и вернуться в смерть; чуть погодя я открыла глаза и взглянула на часы. Десять минут третьего. Я снова заснула, но лишь на несколько минут. Дальше была полудрема, меня обступили фантазмы, образы и потащили за собой, сплетая повествование о моей маме.

В моих наваждениях у Амалии были темные, густые, непослушные волосы. Несмотря на ее старость, они блестели, как шерсть у пантеры, даже когда их усмиряла соленая морская вода, – целая копна волос, таких тяжелых, что ветер не мог разметать их и прочертить хоть тонкую жилку пробора. Они пахли хозяйственным мылом, но не тем твердым, в кусках, на которых еще выпукло отпечатаны какие-то буквы. Нет, мамины волосы пахли жидким мылом коричневого цвета, она покупала такое в магазинчике в подвале, где пыли было столько, что у меня начинало чесаться в носу и в горле.

В том подвале торговал толстый лысый продавец. Подцепив вязкое мыло лопаткой, он опускал его в кулек из плотной желтой бумаги вместе с запахом собственного пота и средства от тараканов. Задыхаясь, я со всех ног неслась домой к Амалии, чтобы вручить ей мыло, и, раздувая щеки, дула на кулек, стараясь прогнать из него запахи подвала и того толстяка. И вот я точно так же бегу и сейчас, прижавшись щекой к подушке, на которой спала моя мама, а ведь с тех пор прошло уже столько лет. Едва завидев меня, Амалия распускает волосы – они текут волнами, завитки надо лбом будто высечены из камня, и черный деревянный гребень, кажется, меняет у нее в руках свое молекулярное строение.

Волосы длинные. Не хватало никакого мыла, чтобы их промыть, хоть беги и опустошай всю бадью толстяка из подвала, куда вели ступеньки, побелевшие то ли от пыли, то ли от щелочи. Не исключено, что иной раз мама, улучив момент, и впрямь спускалась в подвал и окунала волосы прямо в бадью – с согласия продавца. И потом возвращалась домой, весело глядела на меня: мокрое лицо (она полоскала волосы прямо под уличным краном), черные ресницы и глаза блестят, подведенные углем брови – с тонкой поволокой мыла, на лбу и в волосах капли воды и хлопья пены. Вода струится по носу, течет к губам, и мама ловит ее языком, как будто приговаривая: “Вкусно”. Не понимаю, как она умудрялась совмещать две столь разные грани жизни: сперва окунаться в чан с мылом в подвале, накинув лишь голубой халат, из коротких рукавов которого ей на плечи падали бретельки лифчика, а потом идти на нашу кухню и как ни в чем не бывало промывать волосы под латунным краном, так что струя воды разбегалась по ее макушке жидкой патиной. Это воспоминание подступало ко мне снова и снова, и вот теперь настигло опять, и я, как всегда, испытала странное, болезненное смущение.

Толстяку из подвала мало было просто наблюдать за тем зрелищем. Летом он выносил свой чан на улицу. Сам же выходил без рубашки, закопченный от

солнца, а вокруг головы повязывал белый платок. Весь в поту, он орудовал в бадье с мылом длинной палкой, перемешивая ею копну блестящих волос Амалии. Тем временем приближался шум дорожного катка, и вскоре к магазинчику выруливала эта громадина, вся запорошенная серой пылью. Водитель был крепкого сложения, коренастый, тоже без рубашки, волосы под мышками в крутых завитках от пота. Он носил широкие штаны, причем не застегивал их, и мне становилось жутко при виде его распахнутой ширинки. С высоты своей кабины он наблюдал, как из наклоненного чана с мылом стекали смолянисто-черные, густые, изумительные волосы Амалии; от этого каскада над мостовой поднимался пар, а в жарком воздухе дрожали брызги. На теле у мамы тоже было немало волос, особенно в местах, намеренно отведенных для них природой, в местах запретных. Запретных для меня: мама всегда прятала от меня свое тело. Вымыв голову, она нагибалась, подставляла солнцу затылок, суша волосы, и за их плотной завесой исчезало ее лицо.

Когда зазвонил телефон, она резко вскинула голову – мокрые волосы взметнулись над полом, коснулись потолка и упали ей за плечи, хлопнув по спине так громко, что я проснулась. Включила свет. Я забыла, где находился телефон – а он между тем продолжал звонить. Телефон оказался в коридоре, старый аппарат шестидесятых годов, прикрепленный к стене, я хорошо помнила его. Взяла трубку, и мужской голос обратился ко мне: “Амалия”.

– Я не Амалия, – ответила я. – Кто это?

Мне показалось, что мужчина на том конце провода едва сдерживает смех.

– Я не Амалия, – передразнил он фальцетом и продолжил на диалекте: – Оставь для меня на последнем этаже пакет с грязными вещами. Ты обещала. И посмотри хорошенько, там уже стоит чемодан с твоей одеждой. Я принес его.

– Амалия умерла, – сказала я спокойно. – Ты кто?

– Казерта, – ответил мужчина.

Он произнес свое имя, и это было сравнимо с появлением людоеда в сказке.

– Меня зовут Делия, – ответила я. – Что за чемодан стоит на последнем этаже? Какие из ее вещей остались у тебя?

– У меня никаких. А вот кое-что из моего сейчас у тебя, – снова передразнил он фальцетом, коверкая мой итальянский и будто гримасничая.

– Тогда заходи в квартиру, – решительно сказала я, – здесь и поговорим, и возьмешь то, за чем пришел.

Наступило долгое молчание. Я все ждала ответа, но его так и не последовало. Тот человек даже не повесил трубку, а просто взял и ушел.

Я пошла на кухню и выпила стакан воды, которая оказалась мутной и отвратительной на вкус. Потом вернулась к телефону и набрала номер дяди Филиппо. Проплыли пять гудков, и он ответил: я даже не успела поздороваться, как он принялся осыпать меня бранью.

– Это Делия, – сказала я холодно и внятно. Дядя Филиппо явно не узнал меня сразу. Опомнившись, он стал бормотать извинения, называя меня “доченькой” и без конца спрашивая, все ли у меня в порядке, где я нахожусь и что стряслось.

– Звонил Казерта, – сказала я. И, прежде чем он успел снова разразиться бранью, добавила: – Успокойся.

Глава 6

Потом я вернулась в ванную. Подняла с пола белье Амалии, сунула его в пакет. И вышла из квартиры. Я уже не чувствовала ни подавленности, ни беспокойства. Аккуратно закрыв дверь на оба замка, я вызвала лифт.

В лифте нажала на кнопку пятого этажа. Поднявшись, я оставила дверцы кабины открытыми, чтобы хоть немного рассеять темноту на лестничной площадке. И поняла, что он солгал: никакого чемодана не было. Сперва я хотела тут же вернуться в квартиру, но потом передумала. Положив пакет с мамиными вещами в квадрат света, падавшего из лифта, я закрыла дверцы. В темноте я шагнула в угол лестничной площадки, откуда могла хорошо видеть каждого, кто выйдет из лифта или поднимется сюда по ступенькам. Там я села на пол.

На протяжении десятков лет Казерта казался мне городом спешки и беспокойства, где жизнь движется быстрее, чем в других местах. Я представляла ее не такой, какая она была в реальности, – не похожей на город с парком XVII века, где били фонтаны с каскадами; в том парке я гуляла в детстве, был понедельник после Пасхи, кругом толпы туристов, я среди бесконечной вереницы родственников, мы едим колбасу из Секондильяно и яйца, жаренные в скорлупе, на одной тарелке с пастой в жирном остром соусе. Воспоминание, которое сохранилось у меня от города и парка, – это лишь быстрые струи фонтанов и смешанное с ужасом желание потеряться в толпе, слыша, как меня зовут родные, чьи крики становятся все дальше и глуше. С Казертой у меня были связаны также ощущения, к которым непросто подыскать слова: к горлу подступала тошнота, как от бешеного бега в хороводе, голова кружилась, и перехватывало дыхание. Иногда всплывало совсем смутное воспоминание об этом городе – тускло освещенная лестница с чугунными перилами. Иногда – пятно света, исполосованное прутьями и колючей проволокой, на которое я смотрела снизу, из какого-то погреба, и рядом был еще мальчик по имени Антонио, он крепко держал меня за руку. Казерта – как звуковая дорожка к фильму: людской гомон, внезапное громыхание, словно что-то обрушилось. Запахи – как те, что плывут в воздухе в час обеда или ужина, когда из каждой квартиры на лестницу просачивается дух самой разной стряпни, смешиваясь с вонью от плесени и крыс. Казерта – это также магазин сладостей, переступать порог которого мне было запрещено. На вывеске – темноволосая женщина, пальмы, львы, верблюды. Пахло конфетами, какие продаются в жестяных коробках, однако нам было сказано, чтобы в магазин – ни ногой. Ведь дети, входившие туда, не возвращались обратно. Даже для мамы это место было под запретом, иначе папа убил бы ее. Казерта – это плотный, словно вырезанный из ткани, темный силуэт мужчины. Силуэт, подвешенный на нитках подобно марионетке… он скользил туда и сюда, описывая круги. Говорить о Казерте не дозволялось. Дома Амалии было несдобровать, если ей случалось ненароком обронить: “Казерта”, – отец настигал ее, хотя она старалась увернуться, и наотмашь хлестал по лицу ладонью.

Не могу сказать с точностью, сколько мне было тогда лет. Сохранились и более четкие воспоминания: Амалия тайком рассказывает кому-то о Казерте, этом городе-человеке, сотканном из фонтанов с каскадами, парковых зарослей, каменных статуй и нарисованных верблюдов среди пальм. Амалия рассказывала не мне – вероятно, я краем уха слышала ее слова, играя с сестрами под столом. О Казерте она говорила с женщинами, которые, как и она сама, были домохозяйками. И обрывки фраз застряли у меня в памяти. Особенно поразила тогда одна вещь. Это были даже не слова – самих слов мне не запомнилось, – но

их звучание, настолько объемное, что оно переросло в зрительный образ. Этот Казерта, говорила мама шепотом, прижал ее к стене и пытался поцеловать. Услышав это, я представила раскрытый рот мужчины, невероятно белые зубы и длинный красный язык. Язык извивался около губ Амалии и затем устремлялся ей в рот с быстротой, от которой мне становилось не по себе. Подростком я, закрыв глаза, бесконечно прокручивала в уме эту сцену, мысленно разглядывала детали, испытывая отвращение, перемешанное со сладостностью. И всякий раз чувствовала себя виноватой, словно делала что-то запретное. Уже тогда я знала, что в том эпизоде, оживленном воображением, содержался секрет, к которому не следовало прикасаться и который я не должна была раскрывать – вовсе не потому, что одно из моих внутренних “я” не знало, как к нему подступиться, а как раз наоборот: если бы это “я” подыскало к секрету ключ, другое “я” наотрез отказалось бы назвать все элементы разгадки своими именами и изгнало бы то первое “я” прочь.

В одном из разговоров по телефону дядя Филиппо сказал мне то, о чем я давно догадывалась: он говорил, а я уже знала об этом. Суть была такова: Казерта – человек непорядочный. В детстве они дружили – Казерта, дядя Филиппо и мой отец. После войны Казерта с отцом хорошо ладили – тот казался честным и искренним. Однако он положил глаз на мою мать. Впрочем, не на нее одну: будучи женатым и растя сына, он обхаживал всех женщин в квартале. Случилось так, что в отношении мамы он перешел границы приличия, и отец с дядей Филиппо проучили его. После чего Казерта с женой и сыном переехал в другую часть города. “Нужно было тогда открутить ему голову, – угрожающим тоном подытожил дядя Филиппо на диалекте. – Навсегда бы угомонился”.

Молчание. Мне представились все те крики, оскорбления, и кровь тоже. Снова наваждения. Антонио – мальчик, что держал меня за руку, – вдруг побежал вниз, в самую глубину подвала. На мгновение меня накрыло осознание всего того насилия, которым были пропитаны мои детство и юность, уши наполнились звуками, перед глазами рябили картинки из прошлого – все это будто нанизывалось на нить, соединявшую нас с Антонио. И впервые за долгие годы я поймала себя на том, что эти ощущения – как раз то, что мне нужно.

– Приходи сюда, – предложил дядя Филиппо.

– Чем, по-твоему, мне может помочь семидесятилетний человек?

Он смутился. Прежде чем закончить разговор и повесить трубку, я пообещала ему, что непременно позвоню, если вдруг Казерта объявится снова.

И вот я сидела на площадке перед лифтом и ждала. Прошел по меньшей мере час. С лестницы пробивался свет с нижних этажей, которого оказалось достаточно, чтобы четко видеть все вокруг, когда мои глаза свыклись с полумраком. Однако ничего не происходило. Около четырех часов утра лифт вздрогнул, и лампочка, которая подсвечивала кнопку вызова, сменила цвет с зеленого на красный. Кабина поползла вниз.

Я тут же вскочила на ноги, подбежала к перилам и стала наблюдать за лифтом: проплыв через четвертый этаж, он остановился на третьем. Двери открылись и закрылись. Снова наступила тишина. В ней постепенно растворилось даже тихое жужжание стального троса.

Я немного подождала, минут пять, наверное; потом медленно спустилась этажом ниже. По площадке рассеивался мутно-желтый свет: за дверьми всех трех квартир четвертого этажа были офисы страховой компании. Я спустилась по ступенькам еще на один пролет, не отрывая глаз от темной кабины лифта. Я хотела было заглянуть внутрь, но замерла, ошеломленная. Дверь маминой квартиры была распахнута, во всех комнатах горел свет. На пороге стоял чемодан Амалии, возле чемодана – ее черная кожаная сумочка. Я непроизвольно бросилась к этим вещам, но внезапно услышала у себя за спиной, как, стукнув, распахнулись стеклянные дверцы лифта. В освещенной кабине был пожилой человек, ухоженный, довольно привлекательный, с худощавым, смуглым лицом и целой гривой седых волос. Он сидел на деревянной скамье до того неподвижно, что вся представшая мне картина казалась старой фотографией в крупном масштабе. Мгновенье он смотрел на меня – доброжелательно и с легкой грустью. Потом кабина с грохотом поехала вверх.

Сомнений не оставалось. Это был тот самый человек, который встретился мне на улице в день похорон Амалии и осыпал меня нещадной бранью. Но я не стала подниматься по лестнице, чтобы нагнать его, хотя сперва и подумала, что должна это сделать, – мои ноги словно окаменели и вросли в пол. Я неотрывно смотрела, как ползет трос, пока он не замер и не хлопнули двери лифта: они быстро открылись и закрылись. Спустя несколько секунд кабина заскользила вниз. Когда она проплывала мимо меня, мужчина, улыбаясь, продемонстрировал пакет с маминым бельем.

Глава 7

Обычно я вела себя решительно, собранно, быстро и без колебаний; более того, мне нравилась та уверенность, с какой я действовала и которую знала за собой. Однако тогда происходило нечто странное. Возможно, дело было в усталости, или же я растерялась, обнаружив дверь в квартиру открытой, ведь я точно помнила, что заперла ее. Или после долгого ожидания в темноте лестничной площадки меня ослепил зажженный в маминых комнатах свет, да вдобавок на пороге были выставлены ее чемодан с сумочкой. А может, причина в чем-то ином. Может, все дело в отвращении, какое я испытала, осознав, что тот пожилой человек в обрамлении узорчатых дверей лифта на миг показался мне необъяснимо красивым. Одним словом, вместо того чтобы догнать его, я стояла как вкопанная, вглядываясь в его облик и сосредоточившись на его чертах даже тогда, когда кабина лифта уже исчезла из вида.

Осознав ситуацию, я почувствовала себя обессиленной, меня угнетало унижение, испытанное перед самой собой – перед той частью своего “я”, которая всегда следила за моими промахами и оплошностями. Выглянув в окно, я успела увидеть, как в свете фонарей тот человек удаляется прочь по переулку: он казался невозмутимым и шел размеренно, но не устало; пакет он держал в правой руке, чуть отведя ее в сторону, и было видно, как дно черного мешка волочится по мостовой. Я поспешно вышла и бросилась к лестнице. Но тут заметила, что соседка, синьора Де Ризо, выглядывает из своей квартиры – стоит в узком столбике света, пробивавшемся из коридора через осторожно приоткрытую дверь.

На ней была длинная ночная рубашка розового цвета; вдова смерила меня лютым взглядом, но не двинулась с места; на случай, если вдруг объявится злоумышленник, она навесила поперек дверного проема цепочку. Ясно, что она давно уже наблюдала за происходившим через глазок и подслушивала, притаившись за дверью.

– Что тут творится? – возмущенно спросила она. – Всю ночь от тебя покоя нет.

Я уже взяла было такой же возмущенный тон, но осеклась, вспомнив, что она упоминала о мужчине, с которым встречалась моя мама, и решила проявить благоразумие и не ссориться с вдовой, если хочу узнать подробности. Днем

сплетни Де Ризо только раздражали меня, но теперь я готова была завязать с ней долгий разговор, мне нужны были детали, к тому же беседа доставила бы удовольствие этой одинокой старой женщине, которая не знала, как скоротать ночи.

– Ничего не происходит, – ответила я, стараясь выровнять дыхание. – Просто не спится.

Вдова пробормотала что-то про покойников, которые не желают уйти отсюда с миром.

– В первую ночь всегда не спится, – сказала она.

– Вас разбудил шум? – спросила я, разыгрывая вежливость.

– Ближе к утру я сплю чутко и мало. Вдобавок ты постоянно щелкала замком: только и делала, что открывала и закрывала дверь.

– Это правда, – согласилась я, – мне сейчас немного беспокойно. Приснилось, что мужчина, о котором вы рассказывали, был тут, на лестничной площадке.

Де Ризо смекнула, что мой настрой переменился и я расположена слушать все ее сплетни, но сперва захотела убедиться, что я снова не оборву разговор.

– Какой еще мужчина? – спросила она.

– О котором вы рассказывали… тот, что приходил сюда встречаться с мамой. Засыпая, я как раз о нем размышляла…

– Это был порядочный человек, Амалия аж вся сияла. Приносил ей слоеные пирожные, цветы. Когда он приходил, они всё ворковали, смеялись. Хохотала все больше она, да так громко, что на первом этаже было слышно.

– О чем же они разговаривали?

– Понятия не имею, я же не подслушивала. У меня свои заботы.

Но мне не терпелось узнать подробности.

– Неужели Амалия никогда вам ничего не рассказывала?

– А как же, рассказывала, – ответила Де Ризо. – Как-то раз я увидела, как они вместе вышли из квартиры. Она тогда сказала мне, что знает этого человека уже пятьдесят лет и он ей почти как родственник. А коли это правда, то и ты должна его знать. Высокий такой, худощавый, волосы седые. Твоя мать с ним как с братом обходилась. Очень они были близки.

– Как его звали?

– Этого не знаю. Амалия никогда мне не говорила. Она ведь всегда была себе на уме. Сегодня секретничает со мной, хоть мне и дела нет до того, что у нее там происходит, а назавтра даже не здоровается. Про слоеные пирожные я знаю потому, что она иной раз меня угощала. Да и цветы она мне приносила, от их запаха у нее голова болела. Вообще в последние месяцы у нее постоянно болела голова. Но Амалия никогда не предлагала мне зайти и познакомиться с ним.

– Наверное, не хотела его смущать.

– Как бы не так, она просто не хотела, чтоб я вмешивалась. Я сразу это уловила и оставалась в сторонке. Однако вот что скажу: матери твоей доверять было нельзя.

– То есть?

– Порядочные женщины так себя не ведут. Этого господина я видела лишь один раз. Обаятельный пожилой мужчина, хорошо одет. Когда я встретила их, он слегка мне поклонился. А она отвернулась и выругалась в мой адрес.

– Вероятно, вы что-то неправильно поняли.

– Все я отлично поняла. У нее появилась привычка сквернословить – да еще как! – вслух, даже когда она была одна. А потом твоя мать принималась смеяться. С моей кухни все слышно.

– Мама никогда не сквернословила.

– Как бы не так… В нашем-то почтенном возрасте следует вести себя сдержаннее.

– Это правда, – согласилась я. И снова вспомнила про мамин чемодан и сумочку на пороге квартиры. Казалось, после всех тех передряг, что выпали им на долю, они перестали быть вещами, принадлежавшими Амалии. И мне хотелось бы найти способ вернуть их ей. Но вдова, растроганная моей учтивостью, отстегнула с замка цепочку и вышла на порог.

– Ну вот, – сказала она, – в этот час мне уже не заснуть.

Опасаясь, что она намерена зайти в мамину квартиру, я попятилась и решила поскорее свернуть разговор:

– Ну, а я попробую немного поспать.

Де Ризо помрачнела и передумала идти со мной. Раздосадованная, она навесила цепочку обратно.

– Вот и Амалия была такая же, всегда хотела сунуть нос в мою квартиру, а к себе не пускала, – проворчала она. И захлопнула дверь прямо передо мной.

Глава 8

Ясела на пол и открыла чемодан. Но там не оказалось никаких знакомых мне маминых вещей. Все было новым, только что из магазина: домашние розовые тапочки, атласный халат персикового цвета, два ни разу не надеванных платья – одно цвета темной охры, явно узковатое маме и чересчур броское для ее возраста, другое – более сдержанное, синее, но слишком уж короткое; пять пар дорогих трусов, коричневая кожаная косметичка, набитая флаконами духов, дезодорантами, кремами и всем необходимым для макияжа, – притом что мама в жизни своей не красилась.

Я взялась за мамину сумочку. Первым, что мне попалось, оказались белые кружевные трусы. Я сразу разглядела фирменный знак, три буквы “V” сбоку справа, и узнала узор – точно такой же, как на лифчике, который был на Амалии, когда ее выловили из воды. Я внимательно рассмотрела трусы: с левой стороны они были чуть порваны, словно мама надевала их, хотя они были меньшего размера, чем нужно. Я почувствовала, что у меня сводит желудок, и на миг задержала дыхание. Потом вернулась к сумочке: мне хотелось отыскать ключи от квартиры. Разумеется, я их не нашла. Обнаружила мамины очки (у нее была дальнозоркость), девять телефонных жетонов, кошелек. В кошельке было двести двадцать тысяч лир (сумма неслыханная для мамы, привыкшей обходиться небольшими деньгами, которые мы с сестрами посылали ей каждый месяц), чек за купленную электрическую лампочку, паспорт в обложке и старая фотография, на которой были мы с сестрами и отец. Наши очертания едва просматривались. Бумага пожелтела, пошла трещинами, и фотография напоминала изображения крылатых демонов, какие иногда случается увидеть на алтарной стене, нацарапанные кем-то из прихожан.

Положив фотографию на пол, я встала, борясь с тошнотой, которая все усиливалась. Отыскав телефонный справочник, я стала листать его в поисках фамилии “Казерта”. Звонить ему я не собиралась, мне нужен был адрес. Обнаружив растянувшийся на три страницы список людей с такой фамилией, я поняла, что даже не знаю его имени: за все время моего детства никто ни разу не назвал его иначе, как “Казерта”. Бросив справочник в угол, я пошла в ванную. Не в силах больше сдерживать позывы к рвоте, я на мгновенье испугалась, что тело перестало мне подчиняться и поддалось неистовой силе саморазрушения, которая так пугала меня в детстве и с которой по мере взросления я пыталась совладать. Но вскоре я успокоилась. Прополоскала рот и тщательно умылась. Увидев в зеркале над раковиной свое бледное, изможденное лицо, я вдруг решила накраситься.

Такая реакция на происходящее была для меня неожиданной. В тех редких случаях, когда я красилась, я делала это скорее неохотно. Причем красилась я в основном в юности и уже давно забросила это занятие, думая, что макияж меня нисколько не украшает. Однако теперь я чувствовала, что накраситься необходимо. Вытащив из маминого чемодана косметичку, я вернулась с ней в ванную, достала баночку увлажняющего крема – непочатую, если не считать робкого следа, оставленного пальцем Амалии. Окунув свой палец поверх ее следа, я щедро намазала лицо кремом. Этот процесс полностью захватил меня, я энергично растирала себе щеки. Потом тщательно напудрилась.

– Ты призрак, – сказала я женщине в зеркале. На вид ей было лет сорок, она закрыла один глаз и провела по веку черным карандашом, потом проделала то же самое с другим глазом. Она была худая, лицо вытянутое, с острыми скулами и, на удивление, без морщин. Волосы подстрижены совсем коротко, чтобы скрыть атаковавшую седину, которая быстро вступала в свои права, вытесняя естественный черный цвет. А теперь тушь для ресниц.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Королевский приют для бедных – памятник барочной архитектуры в центре Неаполя; работа над проектом началась в 1749 году по приказу короля Карла III из династии испанских Бурбонов, руководил ею архитектор Фердинандо Фуга. Приют вмещал около 8 тысяч бедняков; сегодня там проживают порядка 80 бедных семей. – Здесь и далее примеч. переводчика.

Купить: https://tellnovel.com/ru/elena-ferrante/lyubov-v-tyagost

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить